

В. П. КОЗЛОВ

ТРИ «РАДИУСА» АРХИВИСТА Г. А. КНЯЗЕВА В ЕГО «ДНЕВНИКЕ», ИЛИ «ПОКУДА ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ»

Опубликованный дневник директора Ленинградского архива АН СССР Георгия Алексеевича Князева (1887–1969)¹, зафиксировавший прожитое и увиденное им в годы Великой Отечественной войны, представляет собой уникальный исторический источник. Профессиональный историк-архивист, знакомый с сотнями документов подобного типа и имевший к началу войны свой личный, почти 50-летний (!) опыт ведения дневника², он пунктуально изо дня в день фиксировал увиденное в осажденном Ленинграде, эвакуации и снова в родном городе, но уже после снятия с него блокады. Пожизненно прикованный к инвалидной коляске, директор всего лишь «вспомогательно-го» учреждения Академии наук СССР, он в своем дневнике, словно извиняясь перед его будущими читателями, не раз



Георгий Алексеевич Князев

и не два оговаривается, что мир видимого им – как он сам говорил, «мой радиус» – очень узок, в отличие от другого мира – «большого радиуса» – фронта и вообще мира, в котором совершаются исторически значимые события. Но, пожалуй, он скромничает. До Князева среди источников дневникового типа можно было достаточно легко, хотя и условно, выделить три их подвида: дневник-хроника, фиксирующий происходящее с автором и виденное им, дневник-размышление, являющийся для автора своего рода собранием черновых материалов для написания предназначенных для публики сочинений,

¹ Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009.

² Дневник Г. А. Князева военных лет был использован в известном литературно-документальном произведении А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». Дневниковые записи Князева за 1915–1922 гг. опубликованы полностью. См.: Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915–1922 гг. / Подг. текста, пред. и прим. А. В. Смолина // Русское прошлое. Историко-документальный альманах. СПб., 1991. Кн. 2. С. 97–199; 1993. Кн. 4. С. 35–149; 1994. Кн. 5. С. 148–242.

и дневник-исповедь – своего рода попытка авторской психологической само-терапии. Дневник Князева – поразительное соединение всех трех подходов, ставших его подлинными тремя «радиусами». Рассмотрим каждый из них.

Радиус первый: дневник-хроника. Профессиональный и уже к тому времени снискавший заслуженный авторитет историк-архивист, он прекрасно понимал историческую значимость разворачивавшихся событий и причастность к ним попавшего в блокаду Ленинграда. И Князев принимает добровольное решение стать летописцем событий, современником и невольным участником которых он оказался. Но такого решения было мало. Нужны были выдающиеся воля, сила духа и самоорганизованность, чтобы практически ежедневно в течение всей войны и, особенно, дней блокады, в голод, холод, при тусклом свете не электрической лампочки или хотя бы свечи, а всего лишь фитилька малюсенькой лампы фиксировать виденное и переживаемое. Но это не все. Рассуждая о своем замысле, Князев делает выдающийся шаг в его методологическом осмыслении. Его обращение к будущему читателю своего дневника, в котором он говорит, что тот может стать своеобразным дополнением к «официальным документам», отразившим «научную историю» современности, не столь и оригинально. Куда важнее, когда автор дневника пишет своему будущему читателю о том, что

в моих записках ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную, сложно-трагическую и противоречивую жизнь (с. 33).

Потом еще не раз он опять говорит о себе, обращаясь к будущему читателю:

А ты, прочтя, если судьба сохранит эти записи через сто лет, сопереживешь со мной, интимно, задушевно, просто, мои человеческие переживания, фрагменты мыслей и чувствований современника страшных событий (с. 130).

Итак, Князев обещает будущим читателям дневника поделиться с ними размышлениями и переживаниями «маленького человека» то ли гоголевского, то ли Достоевского типа. Однако уже первые страницы этого документа решительно противоречат этому обещанию, обнаруживая широкую эрудицию и глубину мыслей его автора. А спустя совсем немного времени после такой записи автор дневника уже осознает, что отражение в нем только его это не сделает дневник летописью. Первоначально это своего рода меланхолические записи, попытки

...передать то, что другие не напишут, даже мелочи, даже такие штрихи, как жена академика Алексеева, сидящая в свое дежурство у ворот в шляпке и лайковых перчатках (с. 93).

Затем он вдруг заявляет о своем желании «констатировать факты» – это уже третий уровень осмысления происходящего в дневнике. Это еще в центре его внимания, но параллельно возникает другое – жизнь, которая окружает автора дневника. Для него она звучит пока еще приглушенно. На восемьдесят

первый день войны, 10 сентября 1941 г., Князев, еще только прицеливаясь неосознанно к главному, что составит суть его дневника, обращается к своему будущему читателю:

Дорогой мой дальний друг, тот, который через 50 или 100 лет (если только эти записи сохранятся и не погибнут), простит меня за излишние и, быть может, скучные подробности, повторения. Но он найдет в моих записках честное отображение действительности сквозь призму моего сознания на моем малом радиусе. Все лишнее он отбросит, а некоторые детали, возможно, дадут ему возможность живее, яснее представить, сопережить наше страшное время (с. 166).

Пока он только присматривается к теме, имя которой – жизнь в осажденном большом городе и в условиях войны вообще и словно бы стесняясь делать обобщения об этой жизни, ограничивается миром архива:

Мы (работники архива. – В. К.) люди самые обыкновенные, ничем не замечательные, и записывать что-нибудь героическое мне просто нечего. Одно только и есть достойное внимания – это то, что мы работаем все время, даже во время тревог на службе работа не прекращается. Вот и все, что можно отнести к нашему «геройству». Это, в сущности, и немало при всем том, что сейчас приходится переживать ленинградцам (с. 128).

Но вот уже на сто двадцать пятый день войны Князев ставит для себя новую задачу наряду с фиксацией своего эго. Он пишет:

Я улавливаю биение пульса жизни кругом и стараюсь передать, как бьется мой пульс, как я воспринимаю, переживаю события, как они переживаются другими, – как теми, кто около меня, так и теми, кто как-нибудь на них отзывается по радио, в газетах (с. 256).

С каждым днем Князев расширяет и уточняет свой замысел:

Так бы хотелось запечатлеть и наше время, передать в нескольких лицах, движениях, одежде, типах живую жизнь в осажденном городе! (с. 291).

Этот подход им развивается дальше в записи на сто сорок восьмой день войны:

Здесь, на страницах этих записок, я прежде всего мыслящий регистратор фактов и /того/, как эти факты переживаются, отображаются в сознании моих современников, в том числе и в моем собственном. Я записываю их, регистрирую. Ни на что больше я и не претендую. Конечно, я делаю это, преломляя факты сквозь призму своего сознания. Иногда я записываю и маловажные факты, которые потом можно было бы и вычеркнуть как ненужные, ничего не рисующие (с. 308).

Впрочем, принимая решение описывать происходящее в архиве, увиденное на набережной по дороге из дома в архив и обратно, услышанное при встречах с людьми, почерпнутое из редких газет и из невнятно звучащего

репродуктора, Князев какое-то время еще сомневается – нужно ли все это записывать? «Вести ли дальше мои записки?» – задает он сам себе вопрос на сто сорок девятый день войны.

Они принимают слишком однообразный характер регистрации разрушений, причиняемых бомбежкой с вражеских самолетов. Я не охватываю, как современник, событий, и радиус мой слишком мал для полноты и разнообразия их изображения (с. 310).

22 декабря 1941 г. он даже подумывает о том, чтобы с 1 января 1942 г. прекратить вести свои записи. Но нет. Размышляя над увиденным, знакомясь с прошедшими через фильтр цензуры газетами и фронтовыми письмами родственников и знакомых, Князев делает в конце концов важный для себя профессиональный и психологический вывод:

Ни газеты, ни письма не отражают переживаемого нами времени [...] Честно выполняю свой долг бытописателя на моем малом радиусе (с. 480). И далее: Я в каждое лицо, в каждые глаза встретившегося мне человека заглядываю. Силую все заметить, все записать, что вижу на моем малом радиусе. И мой поздний читатель не будет сетовать на меня и за то, что я позволяю иногда писать и о себе как об одном из многих.

Итак, к началу 1942 г. авторское эго окончательно преодолено, его отражение стало лишь одной из задач дневника наряду с фиксацией окружающей картины.

Но и это еще не все в развитии понимания Князевым методологии своего дневника. С его первых страниц и далее во многих записях символическими героями документа становятся два сфинкса, установленные в 1834 г. на гранитных постаментах напротив здания Академии художеств по обе стороны спуска к Неве. В понимании Князева они как бы символизировали «мерило исторического времени» и в моменты разного духовного состояния автора казались ему то «беспомощными», то бесстрастно-равнодушными, то просто «молчаливыми», то символом «праха» Фив, из которых они были вывезены. Он пишет:

Сколько у меня с ними связано мыслей, образов, в связи с прошедшим и будущим [...] Я мгновенен, они – почти вечны. Даже если около них упадет фугасная бомба, вряд ли погибнут оба сфинкса; один-то, вероятно, останется. И записки мои, и стихи мои за многие годы так тесно связаны с невскими сфинксами, с моими думами, с моей тревогой, с «предчувствиями» или «прогнозами» того, что случилось (с. 80).

Не раз и не два, пребывая в различных душевных состояниях, он называет их своими «друзьями». Создается впечатление, что какое-то время автору дневника они кажутся ближе, чем люди, которые поначалу предстают в его записях едва ли не безликими:

Зашла знакомая М. Ф. (жены Князева. – В. К.) – мать двоих детей. Ко всему приготовилась. Ждет своей судьбы. Вот эта черта обреченности неожиданна и страшна (с. 152).

Такая странная оговорка – «знакомая», – а не названная по имени женщина, оказавшаяся в нелегком положении, волнует автора дневника как отражение некоего общего явления. Знаменательно, что на страницах дневника в течение нескольких месяцев мы не встречаем какого-либо упоминания о соседях автора по квартире. Даже его жена поначалу мелькает здесь как безмолвная тень, выдвинутая на задний план описанием больших и малых событий жизни страны и Ленинграда. Давая характеристику общей ситуации, в оценке людей Князев поначалу холоден и рационалистичен. 27 сентября 1941 г. он записывает:

Люди начинают делиться на две своеобразные категории: не обращающих больше внимания ни на какие тревоги, бомбежку, выстрелы и т. п. и волнующихся, нервно-напряженных. В первой группе: а) равнодушно-беспечные люди или слишком, до апатии уставшие, утомившиеся, которым стало «все равно»; б) верующие: «Господь бог знает, что делает, и только ему ведомо, кому жить, кому умереть». Эти люди даже относительно спокойны [...] Вера спасает их [...] Ко второй группе /относятся/: а) беспокойные, с диапазоном от «нервности» почти до психического расстройства [...] б) нервно, но в меру напряженные люди, прислушивающиеся к свисту снарядов, далеким или близким разрывам их, болезненно ощущающие дрожание дома, взвешивающие ежеминутную, ежесекундную опасность, но внешне остающиеся спокойными (с. 193–194).

Но проходят несколько месяцев, и дневниковые записи Князева все более и более очеловечиваются. Общая для всех блокадных ленинградцев беда – темнота, голод, холод – и как их следствие – ежедневные смерти родных, близких, знакомых, трусость, растерянность, жестокость, покорность судьбе, мужество, ежечасная и повседневная борьба за выживание – как-то незаметно начинают все больше и больше проникать на страницы князевской хроники через удивление, возмущение, осуждение, сострадание ее автора и окружающих его людей. На сто второй день войны он фиксирует еще одну методологическую составляющую ведения своего дневника. Князев пишет:

Газеты полны статьями о борьбе с врагом на подступах к Ленинграду. Они будут в руках читателей, сохраненные в библиотеках. Но газеты не передают и не передадут оттенков, «нюансов» переживаний отдельных людей. Они сообщают или о героизме, или о преступлениях, о чем-то из ряда вон выходящем. А вот здесь, на этих страницах я стараюсь передать бесхитростно то, что переживается самыми обыкновенными людьми, к которым принадлежу и я. Правда, «самые обыкновенные люди» вряд ли записывают свои впечатления. Вот только этим, пожалуй, я и отличаюсь от них (с. 205–206).

В другом месте автор дневника еще более определен:

А вокруг меня маленькие люди, и даже среди них есть не только «существователи», но и скромные истинные герои. Нельзя только говорить об одних героях и об одних «существователях». А будущие воспоминания,

конечно, осветят переживаемые нами дни только и исключительно героически [...] Вспомнит ли тогда кто-нибудь стрелочников на железнодорожных путях, обходчиков, исполняющих свой долг под непрекращающейся бомбежкой, пожарных, тушащих пламя под разрывающимися бомбами, дежурных на вышках (с. 212).

В этот перечень «незаметных профессий» Князев включал и себя, и своих сотрудников по архиву.

При описании блокадной жизни «люди вообще» и конкретные люди со временем заняли в дневнике достойное место. Князев теперь даже стремится дать в своей хронике их профессиональные, художественные, психологические портреты, причем далеко не всегда они даже на фоне примиряющих, казалось бы, страданий выглядят благодетными или героическими. С особой тщательностью прорисованы портреты сотрудников архива – дочери А. А. Шахматова С. А. Шахматовой-Коплан, И. С. Лосевой, А. А. Травиной, П. М. Стулова, Т. К. Алексеевой-Орбели, Е. М. Беркович, П. Н. Корявова, И. И. Любименко, М. В. Крутиковой, А. В. Цветниковой, В. Костыговой, известных ученых Л. Б. Модзалевского, А. М. Чернова, А. И. Андреева. Но и образы других, «внеархивных» людей запечатлены здесь изрядно, начиная от академиков В. М. Алексеева, С. А. Жебелева, И. Ю. Крачковского, А. С. Орлова, Ф. И. Щербатского и кончая энтомологом А. П. Тян-Шанским и дворником Алексеем. В морозные и голодные месяцы зимы и весны 1942 г. Князев с каким-то изумлением начинает описывать судьбы соседей по дому – сначала трех дочерей и внучки покойного президента АН СССР А. П. Карпинского, затем соседки по квартире Т. Н. Балабановой. Теперь, пережив первую блокадную зиму, он начинает замечать рядом с собой свою жену и уделяет целые страницы описанию ее героических усилий по налаживанию быта и сохранению жизни своей и мужа. Наконец, в это же время он не одну страницу дневника посвящает своей жизни в прошлом и размышлениям о ближайшем будущем.

Радиус второй: дневник – размышление Князева. На этом радиусе – целый мир его мыслей, надежд и разочарований, которые условно можно объединить в несколько групп.

Первая группа размышлений историка связана с его пониманием СССР как особой цивилизации, имеющей, по его мнению, в настоящем и в перспективе абсолютно прогрессивный характер. У Князева в его дневнике нет даже и доли сомнения в совершенстве государства, в котором он живет. Его некоторые размышления на этот счет даже похожи не на мысли, а на лозунги, сейчас выглядящие странно наивными. «Мировой Октябрь – вот мое знамя», – заявляет он (с. 429). В СССР, не раз пишет автор, реализована не только идея равенства, но и справедливости, СССР – будущее человечества, Ленин и Сталин – идеальные проводники в это будущее. Правда, что-то случилось в СССР в 1936–1937 гг. – в своих рассуждениях об этом Князев предпочитает говорить не мимоходом, а скороговоркой, а местами – отреченно-бесстрастно и холодно, как бы пунктирно. 15 ноября 1941 г. он, например, сухо записывает в дневник большую цитату из опубликованной в «Правде» статьи бывшего посла США в СССР Дэвиса, оправдывавшую репрессии в СССР:

...московские процессы обнаруживают изумительное предвидение Сталина и его близких соратников, а также объясняют великолепное сопротивление, оказываемое русскими нацистам.

Они – процессы – уничтожили «пятую колонну» в СССР, которая способствовала гибели других стран. В отличие от других стран в СССР предатели были уничтожены до войны.

Но перед угрозой победы фашистов над СССР он даже этот пунктир склонен забыть.

Вот сейчас перед нами, советскими людьми и стоит одна из важнейших и насущнейших задач – хранить как зеницу ока, как наше сердце, это морально-политическое единство советского народа. Пусть было допущено много ошибок, перегибов, пусть, но все это бледнеет и не должно быть не только камнем, но и песчинкой на пути этого морально-политического единства (с. 305).

Уже на излете войны подводя итоги своих размышлений об СССР Князев представляет их через собственную судьбу. Он пишет:

Жил когда-то формулой: «Христос. Нравственное совершенство. Работа. Ум [...] А потом я все больше начинал понимать, что этот маяк лишь в моем воображении [...] Пришел 1917-й/ год. Случилось в мире что-то новое, небывалое. Трудно было сначала во всем этом необычном разобраться и страшно было. Сбились пути. Оказывалось, у мечтателя Ленина было больше правды, реальности, чем у мечтателя Христа [...] Не менее семи лет читал его: Ленин был чужд мне сначала [...] Смерть Ленина в 1924 году всколыхнула нас всех. Пожалуй, лишь с этого года я могу называть себя советским. До этого я принимал советскую власть лишь как историческую необходимость, как неизбежность [...] И не менее важное – пережив непонятное мне жестокое и тяжелое, что происходило в партии с 1934 г/ода/ по 1938 г/од/, я закалился в понимании противоречий, в диалектическом объяснении истории [...] Я стал безоговорочным советским человеком, беспартийным большевиком в полном смысле этого слова. Христос остался мне дорог своей мечтой, той же самой мечтой, которая у Ленина и Сталина. Но у Христа была только мечта, а у последних – реальный путь к достижению этой мечты. И у Христа, и у Ленина, и у Сталина – одна цель: ценность человеческой личности, грядущее коммунистическое общество (с. 1031–1033).

Вот почему этот кристальный советский человек, например, если и не с явным неодобрением, то уж вне всякого сомнения с откровенной насторожен-



*Вид печатного издания «Дневников»
Г.А. Князева*

ностью относится к лозунгу «За Родину» вместо привычного «За советскую Родину», к попыткам государства наладить связи с церковью. Его повергает в смущение усилия советской дипломатии: с одной стороны, для любого здравомыслящего человека второй фронт против Германии казался очевидно необходимым, с другой, – Князев не может освободить себя от беспокойства по поводу последствий союза с «империалистическими государствами» и в конце концов успокаивает себя старым ленинским лозунгом о превращении войны империалистической в войну гражданскую для Англии, США, других капиталистических государств.

Вторая группа размышлений Князева касалась причин и роли войн в истории человечества. В начале своего дневника Князев записывает:

Предо мною среди других книг – «Хронологическая таблица важнейших военных событий всемирной истории». Неужели этот страшный перечень побед, поражений, падений, взятий, битв, сражений, войн, войн без конца и есть история человечества?! (с. 105).

В конце концов в своих многочисленных рассуждениях об этом автор дневника приходит к неутешительным выводам: война – неизбежный спутник человечества, завершится эта, самая кровавая война в его истории, и «лет через 15–20» вспыхнет новая. Пытаясь найти причины этого, Князев даже склонен обвинить Библию:

Не сказки и легенды, а то, что почти на каждой странице кровь и жестокость. Особенно страшен жестокий библейский бог [...] Через всю Библию проходят «казни и наказания божии [...] казнь Ахона; казнь Агавы; избие-ние аммолитян». Убийства, казни и избияния без конца – единичные и массовые [...]

В этой «Вечной книге» запечатлелась вся жизнь древнего народа, сумевшего запечатлеть в веках и радости свои, и страдания, и чаяния милосердия, и ужас перед тем, перед кем они трепетали, и имя которого было запрещено произносить вслух. Но вот загадка – как эта Книга могла стать «священной» для христиан, и учить, как жить миллиарды людей?!

В конце концов, приходит к выводу Князев, «по существу люди остались такими же, как они изображены в Библии, в этой “Вечной Книге”. За 2,5 тысячи лет жестокость людей не утихла. И сильнее еще разгорается ярость людей друг против друга. И многие еще говорят: “Так Богу угодно. Пути его неисповедимы”» (с. 1030–1031).

С этим последним выводом автора дневника тесно связана третья группа его размышлений, касающаяся человеческой природы, поступков и поведения людей в условиях блокады и вообще войны. Дневник создавался в экстремальной ситуации, которая, по справедливому замечанию Князева, всегда особенно ярко выявляет сущность людей. И он не только старательно фиксирует их поступки и действия, но и пытается объяснить их причины, мотивацию. С одной стороны, он поражается и гордится жертвенностью и героизмом своих соотечественников. 21 сентября 1941 г. он записывает: «Итак, апофеоз героической смерти – вот лозунг этих дней. Если не победим, то умрем. Ни шагу назад [...] Отступать больше некуда» (с. 185).

Ненависть, ненависть, ненависть. Сентиментальность, когда гитлеровские полчища, убивая и сжигая все на своем пути, рвутся к Москве и Ленинграду, является преступлением. И гуманист Князев, первоначально с сомнением относившийся к этим пропагандистским призывам, вдруг понимает, что они вызваны самой жизнью. Он записывает:

И как далек в эти страшные дни тот мечтатель из Галилеи, поразивший умы и сердца людей своим учением о едином Боге, отце всех живых существ, о равенстве всех людей и братстве их [...] Какой анахронизм! (с. 207).

С другой стороны, какое-то время Князеву кажется, что героические поступки людей, основанные на любви к Родине и ненависти к фашистам, совершаются не там, где находится он сам, а на полях сражений под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и Севастополем. Вокруг же Князева обычные и выдающиеся люди либо просто работают, либо страдают, либо обнажают все свои, до случившейся беды скрываемые, едва ли не первобытные инстинкты. На шестьдесят второй день войны Князев фиксирует:

Есть такие мерзавцы, которые [...] не стесняются высказываться в том духе, что им и при немцах не будет хуже. И будто бы есть такие уроды на нашем дворе! (с. 140).

Это на неизвестных жителей академического дома гневался автор дневника. А спустя чуть менее ста дней он узнает:

Работница, носящая кирпичи в соседнюю квартиру для устройства огневых точек, говорила кому-то на дворе, что они, женщины, хотят идти в Смольный с требованием сдачи города (с. 305–306).

Позже, наблюдая за ленинградцами, Князев более спокоен и рационален. Он записывает в дневнике:

Как вся наша жизнь, и жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут и те, кто скажут об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверждение, что среди ленинградцев было лишь одно героичество. Была жизнь, полная противоречий (с. 201).

Это общее, записанное на сотый день войны наблюдение Князев не раз потом подтверждал, расширяя и детализируя его.

На сто сорок первый день войны, 9 ноября 1941 г., он записывает:

Есть два плана в поведении каждого из нас: гражданский, мужественный и личный, индивидуальный. Первый зовет к подвигам, заставляет забывать личное, даже свою жизнь, второй напоминает о том, что эта жизнь, которая дана тебе, одна-единственная! На первом плане – подвиги, отречение от себя, на втором – единственная потребность отдохнуть, успокоиться, хоть несколько лет прожить для себя в покое, в удовлетворении своих интеллектуальных интересов. Как никогда, жизнь переплела и обострила эти противоречия. Помимо всего другого, она требует от нас

незаметного будничного геройства – терпеливо выносить все испытания и, если понадобится, незаметно – среди других миллионов – погибнуть. Подвиг требует отваги, декораций, апофеоза имени героя. От нас, заурядных людей, ничего не требуется, кроме жертвы! (с. 290–291).

В другом месте Князев уточняет свое понимание происходящего:

Отнюдь не надо представлять себе, мой дальний друг-читатель, тяжелую, без преувеличения нашу жизнь в трагическом стиле. Если одни люди идут по улице и шатаются, то есть и такие, которые еще улыбаются. Если везут мертвецов, то не сплошь, а изредка, с большими интервалами, отнюдь не гужом. Если не видно на улицах транспорта, то это не значит, что он отсутствует совершенно, а то, что он редок. Если люди умирают, то другие продолжают жить и даже шутить. Отнюдь не жизнь в трагических масках, а просто жизнь, тяжелая, иногда слишком тягостная, действительно в полном смысле трагическая [...] Но жизнь как таковая, просто жизнь (с. 445).

Однако время, стремительно приблизившееся и сделавшее реальными для ленинградцев голод и холод, даже в эту обобщающе-простую схему поведения людей и понимания происходящего вносило свои очень важные и символические поправки. Люди начали не обращать внимания на бомбежки и артиллерийские обстрелы. Люди перестали дежурить на крышах и чердаках. Люди уже не спускаются в бомбоубежища во время налетов немецкой авиации или артиллерийских обстрелов. Что это: героизм или привычка, превратившаяся в безразличие к самим себе? Князев отмечает в своем дневнике, что игнорировать осколки бомб и снарядов – это не геройство, не подвиг, а глупость. Значит, привычка, превратившаяся в равнодушие к своей судьбе. Но все-таки не у всех. Наряду с ними, «усталыми, голодными, ко всему уже равнодушными», в конце декабря 1941 г. в Ленинграде еще есть те, кто «привыкли, но при выстрелах принимают некоторые меры предосторожности, ищут укрытий». А другие и вовсе «тотчас же сломя голову бегут в бомбоубежище» (с. 372).

То было поведение людей в обстоятельствах чрезвычайных – при артобстрелах и бомбежках. А в обычных блокадных условиях люди также проявляют себя по-разному. Князев замечает:

Одни героически, другие шкурнически; одни болеют душой за родину просто или за советскую родину, за культуру, человечность, другим до этого мало или совсем нет дела, только бы прожить, только бы ухватить свой кусок – это в лучшем случае, а в худшем – устроить свое благополучие на несчастьи других; одни воспринимают все глубоко взволнованно или, разумно взвешивая все обстоятельства, имеют пред собой какую-то перспективу, другие питаются слухами, не имеют никакой линии поведения, нервные не в меру, злобные иногда или цинически равнодушны, бездушны к другим. Вот два полюса и между ними все промежуточные звенья (с. 710).

В конце февраля 1942 г., наблюдая за окружающими, Князев отмечает охватывающую людей обреченность, безнадежность и надежду только на чудо. «Вот эта черта обреченности, неожиданная и страшная, – пишет он. – Все мы

терпеливо ждем своей судьбы [...] Очереди тихие, молчаливые, покорные» (с. 152).

Параллельно Князев фиксирует и еще одно явление: разобщенность людей даже в кастовой, профессиональной академической среде его престижного дома. В нем все начали жить

...изолированно, никакого намека на какой-нибудь социализм или тем более коммунизм. Все сами по себе. Даже нет самой простой и элементарной взаимопомощи. Особенно изолированно держались и раньше семьи академиков [...] Другие жильцы также чуждаются друг друга, и не из гордости, а из своей мещанской или чиновничьей природы. Но печальнее всего то обстоятельство, что в нашем доме были два депутата-коммуниста и ни один из них никак не проявил себя [...] Так мы /и/ живем все врозь, без всякой взаимопомощи, без всяких намеков и признаков какого-нибудь социалистического уклада, изолированно переживаем все трудности (с. 400).

«Испытания не сблизили, а разъединили людей», – пишет он в другом месте (с. 534), они заставляют людей бороться за существование по одиночке.

Группа четвертая размышлений Князева посвящена фашистской Германии. Тут в его понимании вселенского зла, принесенного этим государством миру и СССР, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Может быть, кроме одного: мучительных размышлений Князева – гуманиста и пацифиста – относительно немецкого народа. Как он, наследник великих Гейне и Гете, создал условия для появления фашистской идеологии и политики и принял участие в их реализации и как теперь, когда полчища немцев топчут землю его любимой родины, относиться к нему и гитлеровской армии? Князев смущен, растерян, мечется на страницах своего дневника, пытается найти ответы на эти вопросы. С одной стороны, осажденный Ленинград, на улицах и в домах, в окопах и на кораблях которого гибли сотни тысяч его мирных жителей и защитников, требовал одного: «Убей немца», «Отомсти». С другой – гуманистические убеждения Князева не позволяли ему свой гнев и ненависть распространять на весь немецкий народ. Но и не были поводом для мучительных колебаний между советским патриотизмом и гуманизмом.

Исповедальная часть дневника Князева пространна, эмоциональна и искренна. Она вся пропитана мучительными размышлениями автора о возможности примирения гуманистических идеалов с прошлой и настоящей реальностью, о его, инвалида и директора академического архива, личном долге перед Родиной, наукой, людьми. В первые месяцы войны автор был смущен, даже подавлен не столько стремительным германским наступлением, сколько тем, что оказался в стороне от героических событий на фронте, не может внести в них свой посильный вклад. Но вот враг оказывается на подступах к Ленинграду, и Князев с каждым днем все больше и больше начинает осознавать свою причастность к жизни блокадного города. Время идет, и у автора дневника о его участии в войне возникает своего рода «теория пассивности». Первоначально это участие он видел в работе в архиве, пропаганде оптимистического взгляда на будущее, над которой некоторые его знакомые, правда, откровенно иронизировали. Затем себя и своих коллег он начинает называть

«пассивными защитниками» Ленинграда, выполняющими свой долг по сохранению документальных ценностей. И, наконец, переживая ужасы холода и голода блокадного Ленинграда, Князев уверенно и оправданно относит себя и своих коллег-архивистов уже к «пассивным героям-защитникам» города. 12 марта 1942 г. он записывает:

Я и мне подобные неизбежно погибнем, мы обреченные, пассивные герои [...] Страшно или не страшно пассивно умирать – не берусь рассуждать заранее. Но я знаю, за что я умираю, за что я страдаю [...] Потому я живу сейчас – и работаю, и пишу, и спешу покончить многие свои дела, – что глубоко верю в победу социалистического общества будущего, далекого будущего (с. 536).

А 10 июня 1942 г., когда жизнь в блокадном Ленинграде всего лишь на вершок травы, пригодной для пищи, чуть-чуть стала полегче, он пытается детализировать свою теорию «пассивности»:

Никакой радости. Никакой зацепки. Отстоять Ленинград, мою социалистическую родину. Святое благородное дело. Но я «пассивный герой» [...] Могу лишь только умереть, но не сражаться с врагом. Могу лишь пассивно умирать.

Написав это и подумав, Князев оценил свою запись как «малодушие». И он открывает в себе и окружающих его людях героев, а потому, верный долгу историка-архивиста, продолжает:

Но так на самом деле. Не хочу лжи. Я и тысячи, тысячи других, таких же, переживают то же. Только молчат об этом. И я молчу. А потом и мы, и другие будут вспоминать о нас как героях [...] Мы и на самом деле герои. Но мы не артисты, не деланные герои, а герои-люди, простые и обыкновенные (с. 730).

Но осознание героики происходящих событий и своей причастности к ним не снимало того внутреннего душевного напряжения, психологической усталости, подпитывавшихся неудачами Красной Армии, налетами вражеских самолетов и артиллерийскими обстрелами, а также голодом и холодом, которые Князев, как и большинство ленинградцев, испытал в осенне-весенние месяцы 1941–1942 гг. Не случайно зимой 1942 г. на страницах дневника появляется своеобразный художественный образ: «чертенюк», выглядывающий из-за чернильницы и ведущий с автором спор на различные темы. Это как бы антитеза любимым Князевым сфинксов. Те олицетворяли время и все вечное в нем, «чертенюк» – повседневное и низменное, реалии жизни.

Эти реалии заставляли его думать о собственной судьбе. С одной стороны, Князев полагал, что блокада Ленинграда – это случайное и чудовищное историческое событие, и долг историка участвовать в нем посильно и зафиксировать все его различные состояния до конца, тем более, что на протяжении всей Великой Отечественной войны у него никогда не было и тени сомнения в победе над гитлеровской Германией. На двадцать второй день войны он записывает в своем дневнике:

Четыре часа я любовался дивной панорамой своего родного города. Никуда из него я не поеду. Если случится несчастье, пусть лучше вот тут, где-нибудь на набережной или в водах глубокой Невы погибну (с. 74).

С другой стороны, автор дневника – просто обычный человек, да еще инвалид и голодный и промерзший житель блокадного города, – в какие-то особенно тяжелые мгновения своего бытия не мог не задуматься о своем будущем «покуда, – как записал он однажды, – есть настоящее». В этом будущем долгое время он видел только два варианта.

Вариант первый: дожить, дожить во чтобы то ни стало до лета, когда появятся большие возможности для эвакуации из осажденного города – ленинградская научная элита в своей значительной части уже покинула город, хотя и не всегда благополучно устроившись в эвакуации. Но, размышляет Князев, оставив Ленинград, он совершит предательство не только по отношению к городу и его людям. Он предаст и архив, а в конечном счете и себя. Архив, это детище Князева, которое он создавал на протяжении десятилетий, не тяжелой гирей, а священным грузом лежал на его плечах.

Вариант второй: добровольно уйти из жизни, чтобы не видеть судьбы любимого архива, не подвергать себя дальнейшим страданиям и больше не видеть страданий других. «Но как уйти из жизни, если я не буду убит? Оказывается, что через удушение легче всего, некрасивый конец, но верный» (с. 191). «Чертенюк» из-за чернильницы, улыбаясь, одобрительно кивает своей рогатой головой. Вот и массивный, прочный крюк, ранее не замечаемый автором дневника, он обнаруживает в одной из своих комнат. Запись 10 февраля 1942 г.:

Опять разбирался в своей холодной комнате и поглядывал на черный железный крюк на белом потолке, кем и для чего он был вбит? Если для висячей лампы, то почему не посредине, а несколько сбоку?.. Ну, значит, жить еще можно, если на всякий случай обеспечен конец (с. 477).

Крюк выдержит. И вот, после нескольких дней поиска, нашлась и не менее прочная удавка – «крепкий шнур. Сегодня я приметил его. Крепок и надежен» (с. 567). Он удобен и тоже выдержит.

Князев мечется между этими двумя вариантами. Его дух то подавлен, то вновь требует выбора. Эвакуация с архивом – а это четыре километра полок с десятками тонн документов – невозможна. Уйти из жизни добровольно, – значит, доставить еще больше страданий своей на глазах увядающей, любимой и цепляющейся за жизнь вместе с ним жене. В дневнике он приводит разговор с самим собой.

Город заметно пустеет. Невыносимо грустно становится. Все силы собираю, чтобы справиться со своим упадком воли /к/ жизни и слушаю диалог:

– Зачем же, зачем же так упорно цепляться за жизнь, когда начал скользить по наклонной плоскости /к смерти/?

– Ты должен цепляться; ты должен жить; ты нужен родине; ты не имеешь права дезертировать.

– Но если впереди не смерть на поле /брани/, не в битве, не в борьбе, а «тупичная смерть» от дистрофии или скорбута, перегорание тканей или сгнивание заживо?..

– Преступные мысли упадочника. У порядочного и честного советского деятеля не может быть таких мыслей.

– А если они есть?..

– Они должны караться, преследоваться. Жизнь всегда – борьба, а сейчас вдесятирне борьба...

– Я и борюсь. Все, без всякой гордости и самоуничтожения говорю об этом, я делаю для преодоления всех трудностей. Исполню свой долг. Но я чувствую, что последние это мои силы ... А дальше – «тупик». Говорю только о личности, о единице, о малом радиусе.

– Не имеешь права. Твоя жизнь не принадлежит тебе. Какой стыд и позор думать о выходе из жизни. Ты – нужный человек.

И я сию пристыженный (с. 774).

Прошла всего лишь пара дней и Князев вновь возвращается к мыслям о самоубийстве: «И опять назойливая и отчетливая мысль: не уйти ли вовремя, самому?» И в тот же день: «Ходил сегодня по хранилищам опять с чувством большой подавленности, Но не хочу сдаваться!» (с. 778–779).

Наконец, приходит решение – третий, ранее не рассматривавшийся вариант. Самоубийство – только после смерти своей верной жены. Эвакуация – только если прикажут. Запись 16 июля 1942 г.:

Решаем покуда так: прикажут – уедем. Сами не будем поднимать этот вопрос. Бросить на произвол судьбы Архив я не могу. Я предпочел бы погибнуть вместе с ним, если так нужно было бы (с. 784).

И случилось так, что судьба Князева распорядилась по этому третьему варианту. Жена вместе с ним – выжила, а летом 1942 г. пришло грозное, почти что персональное распоряжение президиума АН СССР об их немедленной эвакуации. Князев по этому поводу записывает в своем дневнике: «Значит, уезжать! Ходил по архиву словно кто мне по голове обухом ударил. Имею я право покидать Архив, не являюсь ли я дезертиром?» (с. 796). Но ленинградское академическое начальство в лице нелюбимого Князевым Федосеева твердо настаивало: «Вам приказывают так поступить [...] – и вы обязаны подчиниться» (с. 797).

О трех радиусах дневника Князева можно написать еще немало. Мы попытаемся проиллюстрировать их всех одним сюжетом, который можно назвать «Архив в годы войны». Благодаря дневнику Князева мы можем сегодня реально не только представить, но и понять, что случается с документами в этом случае. Конкретные факты об этом из дневника можно было бы приводить до бесконечности.

Факт первый – полная организационная неготовность архивной службы академии к войне. Лишь в первый ее день руководитель этой службы, по собственному свидетельству, в дневнике «написал инструкцию для службы на случай воздушной или пожарной тревоги», а также «наметил переноску наиболее ценных материалов в более безопасное хранилище» (с. 27), закрепленные соответствующими приказами, которые были выполнены. Только на

седьмой день войны директор занялся составлением «на всякий случай», как он пишет, плана эвакуации архива. Однако, реально оценивая ситуацию с этими действиями и их результатами, Князев признает:

Все наши меры – жалкие паллиативы! Были у меня представители других /академических/ архивохранилищ. Везде такое же положение. Никаких предварительных мероприятий по охранению ценностей на случай войны не было сделано (с. 31).

Более того, практически все дни блокады вопрос об эвакуации или мерах по дополнительной защите академического архива оставался подвешенным, неопределенным. В начале июля 1941 г. Князев записывает в своем дневнике:

Очень путанные сведения получаем из разных источников. То все едем, то не все едем. То складываемся целиком, то частично распаковываемся. Ничего толком не знаем (с. 65).

Факт второй: в условиях отсутствия сколько-нибудь продуманного плана эвакуации архивных документов импровизированные решения об их судьбе в условиях военного времени являются жестом отчаяния с непредсказуемыми последствиями. В своем дневнике Князев на седьмой день войны пишет о спорах относительно сохранения «жемчужины» академического архива – архива М. В. Ломоносова:

Наконец решили, что рациональнее всего будет поместить рукописи Ломоносова вместе с рукописями Пушкина в бронированной комнате в И/нституте/ Литературы/,

т.е. Пушкинском Доме. Но успокоения нет, потому что через пару дней директор самого архива Пушкинского дома Городецкий приходит к Князеву за советом, как сохранить в пока еще не блокадном Ленинграде в условиях войны рукописи «Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др. На Городецком лица нет. Не может спать» (с. 45). В конце концов наиболее ценную часть документов академических архивов удалось вывезти из блокадного Ленинграда.

Факт третий: разрушение в результате военных действий и в условиях блокады и без того далекой от совершенства инфраструктуры архива, прежде всего отопительной и канализационной систем, электроснабжения, создавшие невыносимые условия хранения документов и работы сотрудников архива. Например, на сто семнадцатый день войны Князев записывает:

Сегодня на службе работа шла с большими перебоями. Температура упала в служебных помещениях и хранилищах до 4 градусов. Работать нормально при таких условиях, конечно, невозможно. Времени сотрудниками потеряно до 75 %. Часть из них поместилась в одной комнате, в башне, где у нас запасные хранилища. Там есть печка (с. 236).

Через месяц вновь: «У нас на службе сегодня холодно и сыро. Дров вовремя не достали, топим бумагой – макулатурой. В Архиве дымно, пахнет горелой бумагой» (с. 311). Но то были еще цветочки. 13 декабря Князев фиксирует:

В хранилищах мороз, в служебных комнатах тоже [...] Все время гаснет электричество, и тогда сотрудники сидят в полутьме. На лестнице тьма кромешная. Запереть двери на улицу нельзя: не слышно стука, а без электричества звонок не действует (с. 347).

И, наконец, как определенный горький итог произошедшего в январской (1942) записи:

И случилось так, что и этот замечательный Архив сейчас находится в состоянии склада, в полуразрушенном состоянии, и в читальном зале при морозной температуре недавно стучал молоток и визжала пила, когда сотрудники мастерили самодельный гроб. Если обстоятельства изменятся и могут быть произведены восстановительные работы, много для этого потребуется сил и энергии (с. 424–425).

И тем не менее, именно в эти тяжелейшие для архива дни Князев делает набросок его будущей организации (с. 449–455). По нынешним меркам «архивное завещание» Князева в отношении академического архива – его инфраструктуры, организации деятельности и т. д. – далекая старина, о которой, впрочем, и сегодня лишь приходится мечтать Петербургскому филиалу Архива РАН.

Факт четвертый: пресловутый, но вполне реальный человеческий фактор. В своем дневнике Князев приводит многочисленные примеры самоотверженных действий сотрудников архива по созданию минимально возможных в условиях военного времени условий для более безопасного сохранения архивных документов: «авральные» перенос наиболее ценных из них в более защищенные хранилища, укрепление окон и дверей, налаживание постоянного вечернего и ночного дежурства, заготовка песка на случай пожара, прием документов личного происхождения от эвакуируемых или умерших ученых, противодействие уничтожению документов текущего делопроизводства в академических учреждениях, участие в строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом и т. д. На пятьдесят седьмой день войны Князев констатирует:

Мой коллектив работает с напряжением, помноженным на обстоятельства военного времени [...] Утомляют сотрудников только вечерние и ночные дежурства. Нашему коллективу удалось сохранить покуда большую силу духа, нужное спокойствие и целеустремленность – преодолеть все трудности и делать на своем, хотя и малом участке, все, что требуется от нас в такое грозное время (с. 128).

А на сотый день войны Князев, по его словам,

даже не мог прогнать своих сотрудников, которые не были дежурными в тот злополучный день, когда Ленинград обстреливался из дальноточных орудий и горела уже ярким пламенем часть здания Сената (с. 199).

Но уже 16 октября 1941 г. Князев записывает:

С грустью подмечаю, как начинает нарушаться заведенный /в Архиве/ порядок. Уже курят и в других служебных помещениях, где это не разрешалось, правда, не осмеливаясь еще курить в хранилищах (с. 236).

3 декабря 1941 г. впервые за время обороны Ленинграда взрывной волной от разорвавшейся неподалеку бомбы в архиве были выбиты стекла в четырех окнах. Князев пишет о событиях утра следующего дня: «Сотрудники все-таки работали [...] Грелись у плиты и курили, зажигая папиросы лучинкой [...] Это в Архиве, при мне. Я молчу» (с. 336). Но не только разрушение инфраструктуры расхолаживало сотрудников. Голод ослабил людей настолько, что уже в конце января 1942 г. пришлось отказаться от ночных дежурств по архиву. На двести тридцать первый день войны, 7 февраля 1942 г., Князев отмечает:

На службе то же; холод, мерзость запустения. Около самых входных дверей в Архив дворовые жильцы выливают испражнения. Снег желтовато-красноватый, обледепелый. Сотрудники усталые, осунувшиеся, ничего не делающие (с. 461).

Запись от 21 февраля 1942 г.:

Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, как бы сохранить затухающую жизнь в Архиве Академии, которым я ведаю, и сохранить его как один из самых замечательных архивов по истории русской культуры, и в особенности науки, за два с лишним века. А сил становится и у меня, и у сотрудников все меньше! (с. 499).

Наконец, запись от 6 марта 1942 г.:

Ходят на службу, служат, чтобы иметь карточку служащего. И только. Вот, что осталось от моих героев — сотрудников Архива, дежуривших ночью и днем, сидевших на крыше, не жалевших сил при первой нашей эвакуации в июле. И многие уже не встают с постели (с. 517).

Меньше становилось не только сил у сотрудников, но и самих сотрудников. Голод и холод сделали свое дело. Смерть от голода и холода дочери и внука великого историка и филолога А. А. Шахматова и описание изготовления для них в читальном зале академического архива гробов из собранных по дворам досок, а затем их транспортировка на кладбище останутся одним из самых трагически ярких документальных свидетельств трагедии блокадного Ленинграда. Но и этот эпизод не стал в конце концов основанием в выборе между советским патриотизмом и гуманизмом.

И, наконец, факт пятый: отношение власти и академического руководства к архиву. Дневник Князева фиксирует если не полное равнодушие, то торопливо-небрежное восприятие положения, в котором оказались академические архивы Ленинграда. Сначала принимались противоречивые решения об эвакуации архивных документов академических учреждений. Затем о них просто постарались забыть. Князев и его подчиненные оказались в одиночестве, борясь не только за спасение архива, но и за свою жизнь.

И тут невольно встает вопрос о ценности архивов в глазах государства. Значимость для обороны естественных наук была очевидной, особенно если вспомнить, что как раз в дни блокады замаячили перспективы создания атомной бомбы, начались разработки новых видов оружия и т. д. Понятной казалась ценность картин Эрмитажа – чуть более десятилетия назад некоторые из них хорошо послужили, став одним из источников финансирования индустриализации. Даже ценность мозаичного полотна Ломоносова «Полтавская баталия», украшающая парадный вход в Академию наук, была очевидной, и поэтому неслучайно уже в первые дни войны она была надежно укрыта за кирпичной стеной. А бумаги, самый незащищенный в условиях военного времени «продукт жизнедеятельности» государства и людей, в том числе зафиксировавшие величайшие взлеты человеческого ума, оставались на далекой периферии. Их ценность в условиях войны была равна, если не ниже ценности человеческой жизни.

В конце концов блокадная эпопея документов академических учреждений Ленинграда, включая Архив Академии, завершилась благополучно: наиболее ценные из них удалось эвакуировать, а те, что остались на прежних местах хранения, за небольшим исключением германские снаряды и бомбы пощадили. Дневник Князева показывает, что несмотря на героизм и самоотверженность архивистов сохранение академических бумаг стало делом случая. Возможно, военный историк, изучив дислокацию зенитных батарей, защищавших небо над центром города, а также расположение германских дальнобойных орудий, сможет показать, что бомбы и снаряды не случайно пощадили архивохранилища Пушкинского Дома или академического архива. Гражданский историк, наоборот, может попытаться обосновать догадку о «неслучайности» тем, что по рекомендации Розенберга, руководившего изъятием для рейха культурных ценностей на оккупированных территориях, германские военные специально стремились сохранить академический архив, сберегая бумаги хранившихся в нем выдающихся немецких ученых. Но даже если и будут доказаны такие «неслучайности» в условиях войны и военных конфликтов, они не могут быть признаны допустимыми, в особенности когда речь идет о не просто документах, но подлинных национальных документальных святынях, без которых Россия при любых обстоятельствах – не Россия.

И что сохранение академических архивов в годы войны дает нам сегодняшним и нашим потомкам? Горькое осознание случайности этого. Гордое понимание сохранения документальной непрерывности исторического пути России, а значит, и реальности такой непрерывности. Готовность и сейчас использовать этот великий потенциал академических архивов для какого-то взлета души и ума наших соотечественников, прошлых и ныне живущих, для модернизации России. «Чертенок», выскакивавший из-за чернильницы историка-архивиста Князева в годы блокады Ленинграда, отвлекая, раздражал не только автора дневника. Он жив и сегодня. Он очень хочет, чтобы многотонные фивские сфинксы Ленинграда больше не стояли на набережной Невы, а украшали набережные других великих рек. Не будем называть эти реки – их география принадлежит времени.

12 августа 1942 г. начался новый, «мирный» период жизни Князева, его жены и его дневника. В этот день он был эвакуирован в Москву. 26 августа

поезд мчал его из Москвы в Казахстан в санаторий «Боровое». Там, говоря сегодняшним языком, он вместе с другими учеными-ленинградцами АН СССР проходил «реабилитацию» до июня 1943 г. Блокадник Князев с большим трудом адаптировался к новым, уже забытым им условиям жизни, которые оказались, особенно в «Боровом», совсем не плохими. Там, в Ленинграде, от голода умирают люди, а здесь даже сливки подают, правда, в соответствии со своеобразным «классовым разделением» по академическим званиям и должностям, отмечает он в дневнике. Санаторная жизнь явно тяготит автора дневника: «Гнусная жизнь, – записывает он, – склоки, сплетни, скандалы, обиды, заносчивость, зазнайство» (с. 842). Тревога за судьбу академического архива не оставляет его ни на день – ее он пытается успокоить интенсивными занятиями над очерками по истории академии.

Возвращение в Москву в июне 1943 г. не принесло успокоения. Занимаясь здесь служебными делами в академии, Князев фактически прекращает вести свой дневник на целый год и 31 мая 1944 г., накануне отъезда в Ленинград, объясняет это тем, что «не было “стержня”, на что можно было бы нанизывать свои мысли, да и много было другого дела» (с. 988).

2 июня 1944 г. после почти двухлетнего отсутствия он вновь вернулся в любимый город. И дневник Князева вновь начинает «говорить», он вновь тщательно фиксирует и хронику войны, теперь уже почти ежедневно победную, и хронику жизни Ленинграда, теперь уже мирную. Автор деловито размышляет о том, как по чертежам Архива Академии можно будет восстановить разрушенные ленинградские здания, он возглавляет комиссию по снятию защитной кирпичной стены с мозаичного Ломоносовского панно «Полтавская баталия» в главном здании академии, с удовольствием фиксирует стук молотков по городу, свидетельствующий о починке разбитых окон. Уже в первые дни после возвращения он отправляется на Дворцовую площадь и записывает:

Передо мной была величественная, но пустынная площадь Победы 1812 г. Какая же должна быть площадь и колонна тому, кто спас нашу Советскую, поистине священную Россию! (с. 999).

А победа становилась все ближе и ближе. Она чувствовалась не только в возвращении из эвакуации студентов, преподавателей Ленинградского университета, ученых академии, но и в событиях, явно символических как для автора дневника, так и для других ленинградцев. 5 февраля 1945 г. была снята деревянная обшивка с любимых Князевым сфинксов, 12 апреля от такого же плена был освобожден «Медный всадник», 30 апреля отменено затемнение Ленинграда.

Теперь Победа приближалась событиями в Европе. 13 апреля 1945 г. Князев записывает:

Почти вся наша армия за пределами Союза, в старой Европе. В пятый раз (Семилетняя война, Итальянский поход Суворова, Тринадцатый год, Венгерская кампания, Балканская война) русские офицеры и солдаты поражают весь мир своей стойкостью и выносливостью. Почти во всех столицах побывали русские войска. Мы между Европой и Азией. Нас часто не хотели признавать европейцами. Но мы и не азиаты. Мы евразийцы. И без

всякой тени «самохвальства» мы несли и несем новый светоч человечеству, идеал настоящей человеческой жизни, то, что мы называем сейчас бесклассовым обществом (с. 1054–1055).

Запись Князева от 9 мая 1945 г. полна ликований – иначе и быть не могло. Но она поражает не этим. Уже смерть Рузвельта породила у автора тревогу. 27 апреля, комментируя конференцию в Сан-Франциско, закончившуюся созданием ООН, Князев пишет:

Много надежды возлагается на Бога и на разум человеческий. Но вряд ли все это поможет. Речи нового президента США, государственного секретаря, скорее, напоминают речи пасторов, чем речи действительных строителей во всем мире (с. 1059).

Праздничная запись, продолжающая эту мысль, заканчивается неожиданным полупредвидением:

Что впереди? Сегодня не к месту этот вопрос. Но то, что происходит на Мировой конференции в Сан-Франциско, не вселяет большой уверенности, что кончившегося кровавого кошмара не повторится (с. 1068).

Дневник Князева грандиозен и не имеет себе равных в истории российской дневниковой документалистики, создававшейся в экстремальных ситуациях, ни по объему, ни по детальности описываемых событий, ни по мучительным, противоречивым, раздирающим душу и заставляющим порой безмолвствовать ум попыткам их осмысления, ни по мыслям, которые они порождали у автора дневника и которые для нас сегодняшних сохраняют актуальность. Сегодня проще всего смотреть на него под каким-нибудь одним углом зрения: патриотическим, психологическим, политическим, политологическим, философским, филологическим или собственно историческим. И каждый из таких ракурсов, каждая основанная на нем оценка дневника будет по-своему не просто интересна, но важна и полезна для нас, потому что Князеву, совершившему тройной подвиг, невозможно не сопереживать.

Первый его подвиг – само ежедневное ведение дневника. Второй – сохранение в чрезвычайных обстоятельствах одного из символов Российской академии и российской государственности – академического архива и архивов ленинградских академических учреждений. Третий – выживание в невыносимо тяжелых условиях блокады без потери достоинства. Во всех случаях Князевым двигало одно – желание зафиксировать и сохранить для будущих исследователей дух своего времени, спасти историю академии и одновременно себя не в ущерб другим людям для новой жизни в победившей стране. Он верил в то, что будущие читатели его дневника будут умнее, честнее, мудрее его. Вполне вероятно, что он обращался не к нам, сегодняшним, а к тем, другим поколениям, которые будут отмечать в 2045 г. столетний юбилей великой Победы.

Несколько слов об археографической части документальной публикации. Она производит противоречивое впечатление. С одной стороны видно, с какой любовью, вниманием и тщательностью составители подошли к передаче

текста документа, отмечая и стараясь донести до читателя все его внешние и внутренние особенности, сравнивая и передавая отличия рукописного оригинала от машинописной копии, содержавшей авторскую правку. Строгое предисловие содержит важные характеристики личности автора дневника и истории его создания. Развернутый именной указатель в соответствии с современной и оправданной практикой документальных публикаций одновременно является и важным элементом конвоирования публикуемого документа.

С другой стороны, конвой документа, т. е. комментирование его неопознанных пробелов, в одних случаях представляется чрезмерно излишним (см. например, комментарий № 17), а в других, когда он необходим, отсутствует. Например, было бы полезно прокомментировать фразы «Заславский в “Правде” сообщает...» (с. 40), «Постановление о переводе Академии наук...» (с. 66), «меня вызвали в образованную комиссию по переезду академических учреждений...» (с. 66), «В “Известиях” приведены имена отличившихся» (с. 119) и т. д. Всего таких непрокомментированных неопознанных пробелов мы насчитали в дневнике около 60.

Вопрос с комментированием при публикации именно этого документа приобретает принципиальное теоретическое значение для археографии как научной дисциплины. Князев очень откровенен в характеристиках окружающих его людей, причем нередко эти характеристики носят негативный характер не только в обобщениях, но и при изложении деталей. Его описания быта, нравов, поведения известных деятелей науки во время эвакуации и на курорте «Боровое» в Казахстане выглядят в высшей степени интригующе и производят тяжелое впечатление. Нужно ли было оставлять эти и другие аналогичные страницы дневника без комментариев (об их исключении при публикации и речи быть не может)?

Издатели оставляют этот вопрос без ответа, они его как бы даже не замечают, предоставляя читателям самим решать вопрос об объективности или пристрастности автора дневника. Искренность Князева, беспощадного в характеристиках своего собственного состояния в тот или иной момент своей жизни, является серьезным аргументом в пользу объективности его характеристик других людей. Но человек часто и сам себя может не понимать и обманывать. Тем более он может не преуспеть в понимании другого человека.

В размышлениях о достоинствах или недостатках данного издания дневника в части комментирования некоторых его частей, связанных с характеристикой Князевым того или иного человека, археография должна иметь какую-то позицию. Практическая археография последних десятилетий предлагает нам, на самом деле, их не одну, а три.

Позиция первая: все, что по этическим и моральным соображениям времени подготовки документальной публикации не соответствует нормам этого времени, должно быть исключено из текста публикации. Так, например, постыпили издатели дневника сына Марии Цветаевой Георгия Эфрона, обозначив отточиями исключенные места, связанные с сексуальными размышлениями автора. И такую позицию можно не только понять, но и принять, обосновывая ее в каждом конкретном случае.

Позиция вторая: исходя из того, что определенные виды документов, например, протоколы допросов лиц, подвергшихся политическим репрессиям,

обладают, говоря словами Б. В. Ананьича и В. М. Панеяха, свойством «принудительного “соавторства”», т. е. сфальсифицированы под угрозой физического или психологического воздействия, публикаторы отказываются от какого-либо комментирования показаний обвиняемых, в том числе в отношении других лиц, делая общую оговорку об их недостоверности. Так поступили публикаторы документов «Академического дела» 1929–1931 гг. Эта общая оговорка напоминает редакторскую врезку к газетной статье, фиксирующая несогласие редакции с мыслями автора статьи. И эту позицию можно понять и принять, особенно когда в предисловиях к документальным публикациям дается обстоятельный и убедительный источниковедческий анализ публикуемых документов.

Позиция третья предполагает своего рода «свободное», без какого-либо конвоирования, бытование документа, содержащего индивидуальный, субъективный взгляд его автора на происходящее и окружающих его людей. К такого рода документам принадлежат, в первую очередь, документы личного происхождения, включая и дневник Князева, и именно эта позиция стороннего «невмешательства» публикаторов с помощью комментариев в его тексты, содержащие персональные характеристики, реализована ими в публикации.

Нам кажется, что последняя позиция формальна, и издание дневника могло бы быть дополнено уместным в данном случае психологическим портретом Князева, который бы позволил читателю принять авторские характеристики людей или скорректировать их. Оговорка в предисловии о субъективности автора и демонстрация этой субъективности на конкретных примерах, подтвержденных хотя бы минимумом источниковедческих размышлений, на наш взгляд, является обязательной при публикации документов личного происхождения.

Наши замечания ни в коей мере не умаляют всего того, что сделано публикаторами и тем более совершенного Князевым документального подвига. Издание его дневника периода Великой Отечественной войны стало одним из самых заметных событий в отечественной археографии последних лет, существенно пополнив документальную летопись войны.